



Максим Антонович

Мистико-аскетический роман

«Public Domain»

1881

Антонович М. А.

Мистико-аскетический роман / М. А. Антонович — «Public Domain», 1881

ISBN 978-5-457-06233-7

«Всем, конечно, известны и всем, вероятно, даже надоели так часто повторявшиеся в реакционной квиетистической печати жалобы на литературную критику шестидесятых годов за то, что она будто бы губила литературные дарования, сбивала с толку, направляла на ложный путь и уродовала беллетристические таланты. Литературная критика добролюбовской школы, гласят эти жалобы, отрицая чистое искусство и игнорируя требования и условия художественности, ставила прежде всего и выше всего мысль художественного произведения и притом не идею в ее общем отвлеченном значении, независимо от времени и обстоятельств...»

ISBN 978-5-457-06233-7

© Антонович М. А., 1881

© Public Domain, 1881

Максим Алексеевич Антонович Мистико-аскетический роман

Всем, конечно, известны и всем, вероятно, даже надоели так часто повторявшиеся в реакционной квиетистической печати жалобы на литературную критику шестидесятых годов за то, что она будто бы губила литературные дарования, сбивала с толку, направляла на ложный путь и уродовала беллетристические таланты. Литературная критика добролюбовской школы, гласят эти жалобы, отрицая чистое искусство и игнорируя требования и условия художественности, ставила прежде всего и выше всего мысль художественного произведения и притом не идею в ее общем отвлеченном значении, независимо от времени и обстоятельств, а именно узкую, специальную мысль, имеющую прямое, непосредственное отношение к данному времени и данным местным обстоятельствам. Она напевала, твердила, внушала, даже повелительно требовала, чтобы словесные художники в своих произведениях непременно преследовали практические прикладные цели, занимались злобою дня, политическими и общественными вопросами и непременно с целью разрешения их в известном, определенном смысле, согласно с общим направлением автора и с стремлениями той школы или практической партии, к какой принадлежит автор. Она догматически провозглашала как непреложную истину, что искусство должно служить жизни, что художество есть только особенная, более легкая форма для выражения того, что проповедует и распространяет публицистика. Художники, подчинившиеся влиянию этой школы, сами на себя накладывали путы: вместо того чтобы предоставить полный простор своему таланту, ничем не стеснять его полета, во время которого он мог бы собирать всевозможные материалы, руководясь единственно своим художественным инстинктом, они рабски держались узкой тенденции, смотрели на все сквозь призму ее и старались насильственно подгонять к ней свои повествования. Эта тенденциозность губила всякую художественность и создавала в беллетристических произведениях неестественность, деланность, вымученность. Эти произведения были побасенками, выдуманными для проведения тенденциозной морали.

Справедливы ли эти обвинения, или нет – мы этого здесь разбирать не будем. Мы желаем только обратить внимание на тот факт, что тенденциозные художественные произведения существовали, существуют и будут существовать у нас и помимо влияния добролюбовской школы, что они вызываются не только влиянием критики, но еще и другими причинами, что тенденциозность встречается и у тех писателей, которые могут быть названы общепризнанными, патентованными художниками. Что такие произведения есть теперь – доказательством может служить роман, разбором которого мы намерены заняться.

Достоевский принадлежит к числу тех наших, так сказать, дореформенных художников, на которых не имела никакого влияния критика добролюбовской школы. Талант Достоевского развился, окреп и установился еще до Добролюбова, и к критике последнего Достоевский всегда относился отрицательно. Да по своему огромному самомнению он и не способен был принимать к сведению замечания критики и пользоваться ее указаниями. Значит, критика шестидесятых годов нимало не повинна в тех фазах развития, через которые проходил талант Достоевского и характер его литературного творчества.

С самого начала Достоевский был истым художником, представителем искусства для искусства. В первых его произведениях до шестидесятых годов не было заметной тенденциозности. Правда, Добролюбов в большинстве типов, изображенных в этих произведениях, нашел общую мысль, общую всем им черту и всех их отнес к категории «забитых людей», у которых пострадало человеческое достоинство. Но эта мысль принадлежит самому Добролюбову, а не Достоевскому, который вовсе не задавался этой мыслью и брал для изображения типы, руководствуясь не какими-нибудь соображениями и целями, а художествен-

ным инстинктом или тактом, и он, вероятно, сам удивился, когда ему сказали, что его типы в большинстве принадлежат к категории забытых людей в смысле Добролюбова. Но чем дальше, тем произведения его становились все тенденциознее, и тенденция их направлялась в сторону «Русского вестника» до такой степени заметно и явственно, что другие журналы, печатая его произведения, конфузились, извинялись, делали оговорки. Наконец, последнее произведение его, которое мы имеем в виду рассмотреть, есть верх тенденциозности; его как-то странно и называть романом. Это трактат в лицах; действующие лица не разговаривают, а произносят рассуждения и притом большею частью на одну и ту же, очевидно излюбленную автором, тему теологического или, лучше, мистико-аскетического свойства. Эту тему единодушно развивают действующие лица: монахи и миряне, старцы и юноши, мужчины и женщины, господа и лакеи, добродетельные люди и закоренелые грешники. Но, не довольствуясь этим, автор приложил к своему роману всерьез, взаправду несколько важных и глубокомысленных трактатов мистико-аскетического содержания под псевдонимом старца Зосимы. Роман с приложением аскетических поучений – да ведь это несообразность, нелепость! Но с точки зрения тенденциозности эта несообразность, эта нелепость естественна и понятна. Для автора самое главное мысль, тенденция, а роман второстепенная вещь, оболочка, *façon de parler*; он старается провести свою мысль всеми мерами, всеми правдами и неправдами, и, боясь, что читатель сам не увидит и не поймет этой мысли в аллегории романа, он пересыпает аллегорию трактатами, которые уже прямо должны наводить читателя на тенденцию романа. Автор, вероятно, вовсе не прибег бы к аллегории романа и изложил свою мысль только в трактате, если бы был уверен, что трактат так же сильно подействует на читателей и с таким же увлечением и азартом будет читаться и в том случае, если он не будет подправлен и одобрен разными романтическими снадобьями и художественным перцем.

Словом, тенденциозность романа не подлежит ни малейшему сомнению. А чтобы лучше уразуметь тенденцию, составляющую сущность романа, нам следует припомнить направление или – так как это слово почему-то многим теперь не нравится – мировоззрение автора его. Достоевский, возвратившись к литературной деятельности после невольного ужасного литературного бездействия, описанного им потом под видом пребывания в «Мертвом доме», пристал к той литературной партии или школе, которую можно назвать левым славянофильством. Это было особого рода славянофильство, не столь крайнее, как московское, но гораздо менее ясное и определенное, чем последнее; оно было похоже на тот вид славянофильства, который исповедовали Шевырев, Погодин, вообще «Москвитянин». На самом левом конце этого направления стоял А. Григорьев, неопределенный мечтатель и художественный мистик, одною своею стороною даже соприкасавшийся с западничеством. Вот в этом славянофильствующем направлении Достоевский и вел вместе с своим братом Михаилом последовательно два журнала – «Время» и «Эпоху». На знамени этих журналов было написано и девизом их было: «Мы оторвались от почвы, то есть от простого народа, и улетели в облака; поэтому мы должны спуститься на землю, возвратиться к почве». В чем должно состоять такое возвращение к почве, этого журналы совсем не разъясняли. Но в то время многим, а в том числе и нам лично, это возвращение казалось очень подозрительным. Впоследствии эти подозрения оправдались, когда Достоевский своею беллетристическою и публицистическою деятельностью обнаружил и разъяснил, в чем должно состоять возвращение к почве. В политическом и общественном отношении путем для этого возвращения должны служить принципы князя Мещерского, развивавшиеся в «Гражданине», деятельным сотрудником которого был Достоевский. А затем возвращение к почве приняло другую форму. Достоевский бросил всякую политику и общественность, отложил в сторону всякие житейские вопросы, а ударился в субъективность, зарылся в самую глубину души, в ту таинственную область, где гнездятся восторженная вера, всерешающая мистика и созер-

цательный самозаклученный аскетизм. Вот в эту-то область и увлекает Достоевский всякого интеллигентного человека, витающего в облаках и желающего возвратиться к почве.

Подробности этого кульминационного пункта в развитии мировоззрения Достоевского таковы в их общих чертах. Русский простой необразованный народ есть самый религиозный народ в мире; он стоит на самой высшей степени религиозного совершенства и духовного просвещения, так что для него не нужно никакое мирское просвещение. Русский народ есть «народ-богоносец», как выражается старец Зосима, псевдоним Достоевского. Просвещение есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце; и Достоевский уже прямо от себя утверждает, что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть (?) Христа и учение его», что хотя наша земля и нищая, но ее всю «исходил, благословляя, Христос». Кроме общей религиозности, русский простой народ отличается еще особенною любовью и уважением к мистицизму и аскетизму, к усиленным подвигам поста, послушания, целомудрия и всяких других родов умерщвления греховной плоти – словом, к тем подвигам, которые практикуются в монастырях и скитах. «От народа спасение Руси», говорит псевдоним Достоевского; «русский же монастырь искони был с народом». Из этих двух посылок силлогизма всякий, даже не учившийся в семинарии ни Barbara-м, ни Celarent-ам, сразу выведет заключение: следовательно, спасение от монастыря. Европейское же просвещение и образование в этом отношении диаметрально противоположно духу простого русского народа; оно неизбежно ведет к неверию, к сомнению, к умственной кичливости, к превозношению и гордыне; оно порождает равнодушие, холодность и даже презрение к аскетизму, к посту, целомудрию и умерщвлению плоти, а тем самым отчуждает от спасительного монастыря. Поэтому, если русский человек захочет умственно развиться и получить научное европейское образование, то он вместе с образованием незаметно всасывает яд неверия, умственной гордыни и отчуждения от монастыря, – словом, отрывается от почвы. Вследствие этого-то русская интеллигенция так бессильна и бесплодна. Все ее построения не имеют фундамента и стоят на песке; все ее заботы, все ее планы об устройстве или улучшении общественных отношений и об облегчении участи простого народа оказываются напрасными и не достигают цели. И это будет продолжаться до тех пор, пока интеллигенция не возвратится к почве, к простому народу. И путь этого возвращения после вышесказанного ясен сам собою.

Интеллигенция должна отказаться от своего просвещения, должна отвергнуть зловредное европейское образование, отречься от него, смирить свою гордость и свой ум, овладеть собою, «подчинить себя себе»; а самое лучшее средство для этого – отправиться в монастырь и выбрать себе в руководители какого-нибудь старца, отдаться в его полное распоряжение, быть у него на послушании, отречься от своей воли и предаться его воле во всем, как это и сделал один из героев романа, Алеша Карамазов – самое любимое детище автора. Тогда только интеллигенция, смилив самолюбивую и гордую волю, найдет правду в себе, достигнет истинной свободы духа и осуществления всех тех своих стремлений, которым она безуспешно старалась удовлетворить беспочвенными гражданскими идеалами и заботою о злобе дня. Приблизительно через такой же цикл развития прошел лично сам Достоевский. «Не говорите же мне, – восклицает он в своем „Дневнике“ за прошлый год, – что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в европейского либерала». Убедить и других последовать тем же путем, то есть бросить всякие гражданские идеалы, всякие мирские злобы дня, и искать свободы и правды только внутри себя и притом по указаниям и под руководством монастыря и скитских старцев, – такова мысль, такова цель, такова тенденция как романа «Братья Карамазовы», так и речи Достоевского о Пушкине и его полемики по поводу этой речи.

Да ведь это все та же старая песня, скажет читатель, которую мы слышим и слышали столько раз! Совершенно верно. Это даже не новая вариация на старую тему, а просто та

же старая тема, которую всегда развивали и развивают все обскуранты и ретрограды, противящиеся всяким улучшениям во внешнем быте и общественном положении и состоянии людей, та же старая песня, которую тянули старые и тянут теперь новые славянофилы, та же песня, которую Лазарем распевал Бурачек в «Маяке» и в своих отдельных брошюрках, выходявших в 60-х годах, которую лицемерно и фальшиво пел Аскоченский, которую элегантно исполняют разные великосветские Редстоки и Пашковы, и, наконец, та же старая песня, которую по воле какой-то злой судьбы запел под конец своей жизни и наш бессмертный Гоголь в своей злосчастной «Переписке с друзьями». В своей «Авторской исповеди» он провозгласил, как аксиому, следующее положение: «Верховная инстанция всего есть церковь (как у Достоевского монастырь), и разрешение вопросов жизни в ней». Во многих пунктах Гоголь и Достоевский буквально сходятся между собой; например, оба они восстают против гордыни ума и превозношения науки и рекомендуют смирение и покорную веру; оба они прославляют простой русский народ, как самый религиозный в мире, и т. п. К счастью для русской литературы, Гоголь не омрачил ни одного из своих художественных произведений этой тенденцией; он не произвел ничего, после того как в нем совершился поворот к мистическому аскетизму. Духом своих произведений он был недоволен; но уже ничего не мог поделать с ними и с сожалением вспомнил русскую пословицу: «Слово как воробей, выпустивши его, не схватишь». Зато он с удовольствием сжигал все, что еще не было выпущено и оставалось только в рукописи. Достоевский поступил иначе; он внес свою тенденцию в свои художественные произведения; он продолжал свою художественную деятельность и после того, как в его мыслях совершился окончательный поворот к мистическому аскетизму. Не довольствуясь публицистической пропагандой своего мировоззрения, он стал пропагандировать его и своими романами. Сочинения Гоголя, если от них отнять «Переписку» и «Исповедь», останутся цельным перлом без пятен и трещин, стройным организмом, который оживлен одним общим духом, одною господствующею идеей. Сочинения же Достоевского, если даже исключить из них публицистические статьи и речи и «Дневник», будут представлять разнохарактерную смесь, крайние члены которой проникнуты различным духом и одушевлены неодинаковыми тенденциями.

Уже давно, со времени критики Добролюбова, сделалась избитым общим местом та мысль, что Достоевский есть художник униженных и оскорбленных или забытых людей, в которых, однако, сохранилась искра сознания человеческого достоинства, по временам вспыхивающая слабым протестом, что в его художественных произведениях звучит постоянно струна гуманности, любви к страждущим, даже к преступникам, в которых художник признавал людей, своих ближних. Такая характеристика совершенно неприменима к его последнему произведению. В «Братьях Карамазовых» вместо гуманитарного элемента выступает элемент теологический или мистико-аскетический. Здесь нет всепрощающей любви ко всем и ко всему, а есть строгий, неумолимый аскетический ригоризм, сурово анафемствующий всех отверженцев, отмеченных печатью высшего проклятия. Подобно всем теологическим зелотам, художник обнаружил здесь крайнюю нетерпимость ко всякому иноверию, ко всякому разногласящему мнению. К внешним практическим действиям он снисходителен и гуманно терпим; но он безжалостен к иноверию, а тем паче к безверию. Он простит самое страшное внешнее преступление, но в нем не найдет и капли жалости к самому безобидному теологическому сомнению, а тем более отрицанию. Достоевский в своем последнем романе поступает совершенно так же, как в басне Крылова те адские Мегеры, которые снисходительно отнеслись к грабителю по большим дорогам и разбойнику и, напротив, безжалостно осудили на неугасаемый огонь и вечные усиленные муки писателя, который «вселял безверие» и даже «величал безверие просвещением». В этом романе мы уже не видим оскорбленных и униженных или забытых, за исключением разве штабс-капитана Снегирева, который несколько напоминает прежние излюбленные типы Достоевского.

Здесь люди рассматриваются и классифицируются с другой, совершенно особой точки зрения: одесную избранные овцы, а ошую отверженные козлица. Настоящих людей с плотью и духом, со смесью добра и зла здесь нет, а есть только с одной стороны святые, праведники, стоящие выше всяких человеческих слабостей, словом, ангелы во плоти, обязанные всем своим величием и своею праведностью своей твердой, ясной, несомневающейся и неколеблющейся вере, а с другой стороны нераскаянные и непробудные грешники, сомневающиеся и неверующие и вместе с верой потерявшие всякую духовную любовь, стыд и совесть, всякую нравственность, всякое человеческое подобие, – словом, воплощенные дьяволы, с наслаждением предающиеся злу и сеющие его повсюду.

К числу праведников принадлежат следующие лица в романе.

Если не первый, то второй герой романа, Алеша Карамазов, самый младший из трех братьев, ангел во плоти, так что братья так-таки прямо и называли его «ангелом», «херувимом». С самой ранней юности он возлюбил благочестие и бегал блуда и блудных помыслов, или, как выражается автор, «в нем была дикая, иступленная стыдливость и целомудренность; он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин». Даже юные сверстники его, гимназисты, несмотря на все старания, не могли всеми своими соблазнами поколебать его иступленной целомудренности, и когда они начинали заговаривать «про это», то он быстро затыкал уши пальцами. С юности же он возлюбил иноческое житие, убежал от мира и его соблазнов и поступил в обитель, где подвизался великий и благочестивый старец Зосима, и отдал себя в послушание ему. Старец же зело возлюбил богобоязненного юношу, сделал его своим наперсником и достойным сосудом, в который изливал свои благочестивые аскетические поучения; и юноша усердно записывал эти приснопамятные поучения, чтобы сохранить их для потомства. Они напечатаны в конце 1 тома романа, где занимают 30 листов, или, выражаясь по-мирскому, 60 страниц, несомненно определяя физиономию романа. Подобно старцу Зосиме, юношу послушника Алексея любили все добрые и благочестивые люди; куда бы он ни являлся, всюду вносил мир, любовь, благодать, добрые помыслы и исправление; уже один внешний лик его производил благотворное действие даже на грешников. Так, например, был такой случай. Некоей благообразной и благолепной блуднице, Грушеньке, жившей на блудном иждивении у купца Самсонова, диавол вложил в сердце мысль искусить и обольстить своими плотскими прелестями юного инок, вовлечь его в блуд и тем учинить «позор праведного» и «падение из святых во грешники». Для сего она подкупила своего родственника, семинариста Ракитина, за 25 руб., чтобы он привел к ней послушника Алексея. Но едва только она узрела образ Алексея и услышала сладкий глас его речи, как сатанинский умысел отлетел от ее сердца; она чистосердечно исповедалась перед ним в своем грехе, созналась, что «хотела его поглотить», и просила у него прощения. Он простил, а она, тронутая его праведностью, исправилась и с того времени стала добродетельной и самоотверженной женщиной. Откуда же и каким образом развилась в Алеше Карамазове такая сила благочестия и чудодейственного нравственного влияния?

Личность Алеши, как и все другие личности в романе, крайне бледна, неестественна, неопределенна и непонятна; это просто авторское сочинение, фантазия. Чтобы убедить нас в действительности или даже в возможности существования такого удивительного лица, автору следовало показать нам процесс его развития, закончившийся благочестием и поступлением в обитель послушником. Но этого не сделано, и нам благочестие и пустынножителство Алеши представляется врожденным, унаследованным от предков. Но от отца, Федора Павловича Карамазова, он не мог получить такого наследства, так как этот был во всю свою жизнь нераскаянным грешником, отчаянным блудодеем и неудержимым сладострастником. Остается приписать это наследство матери. Намек на это есть и в романе: описывается, что в душе Алеши глубоко запечатлелось воспоминание из самого раннего детства о том, как мать его с молитвой и слезами судорожно сжимала его в своих объятиях и потом подносила

его к образу богоматери, как бы отдавая свое детище под ее защиту и покров. Но это обстоятельство хотя и могло иметь свое значение, однако оно не объясняет благочестия и заключения в монастырь. А затем автор ограничивается только фразами о том, что Алеша узнал и понял мирскую злобу и душа его рвалась к свету, который нашла в монастыре, и ни слова не говорит о том, какие именно вопросы волновали ум этого Алеши, не окончившего курс гимназиста, какие явления особенно поразили его и раскрыли для него всю бездну мирской злобы. Вот его собственные слова:

«Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец (?), и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо – нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неуголимого сердца» (т. I, 33). «Скажут, может быть, что Алеша был туп, не развит, не окончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторяю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же естественно сказал себе: „Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю“» (I, 46).

Но как бы то ни было и от каких бы то ни было причин, а Алеша полюбил пустынно-житие и всею душою прилепился к старцу Зосиме и пребывал с ним до самой его смерти. Перед смертью в виде послушания старец повелел ему оставить обитель и благословил его снова возвратиться в мир с его злобой, что свято и исполнял, и здесь в мире завел было даже любовное дело и начал переписку с девицей Лизе Хохлаковой, получившей исцеление от старца Зосимы; но дело это, впрочем, осталось без последствий. Жизнь нашего человеколюбца в мире для бессмертия состояла в следующих человеколюбивых подвигах: он был поверенным своих двух старших братьев, Ивана и Дмитрия Карамазовых, снисходительным и терпеливым слушателем всех их диких, беспорядочных, но горячих признаний, излияний, откровений, мечтаний, исповедей и порывов, посредником или фактором в их сношениях с их возлюбленными; претерпел укушение пальца на руке от Илюши, сына упомянутого штабс-капитана Снегирева, в отмщение за то, что его брат Дмитрий публично и всенародно в трактире и на площади прибил и опозорил этого штабс-капитана, вырвав у него бороду; дал этому штабс-капитану денежное (200 руб.) и моральное удовлетворение за обиду, нанесенную братом; примирил с этим Илюшей подравшихся было с ним его товарищей-гимназистов, с участием посещал болящего Илюшу, присутствовал на его погребении и сказал над могилой его поучительное слово. Все это, конечно, такие подвиги, для совершения которых далеко не требовалось «жертвовать жизнью». Других же подвигов в романе не видно никаких. А между тем, судя по той торжественности, с какою старец Зосима посылал в мир Алешу на борьбу и подвиги, по его грозным предсказаниям, мы вправе были ожидать от Алеши чего-нибудь большего, кроме факторства и хождения по любовным делам братьев. Вот с какими заповедями Зосима посылал Алешу из обители в мир:

«И знай, сынок, – старец любил его так называть, – что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша, как только сподобит бог представиться мне, и уходи из монастыря.

Совсем иди. – Алеша вздрогнул. – Чего ты? не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши (NB). А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобою Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай. Запомни слово мое отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобою, но не только дни, а и часы мои сочтены. В лицо Алеши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись» (I, 125–126).

Другой инок, отец Паисий, напутствовал Алешу в мир так:

«Помни, юный, неустанно, что мирская наука, соединившись в великую силу, разоблачила, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось из всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адавы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо! Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, не забудешь и слов моих, ради сердечного тебе напутствия данных, ибо млад еси, а соблазны в мире тяжелые и не твоим силам вынести их. Ну, теперь ступай, сирота» (I, 267–270).

Вообще фигура Алеши крайне неопределенна в романе, а при сопоставлении ее с приведенной миссией старца Зосимы, святотатственно скопированной с известной евангельской беседы, представляется даже жалкой и комической, хотя, повторяем, этой фигуре принадлежат все симпатии автора.

Но самый великий праведник в романе – это старец Зосима, все его поклонники уже при жизни считали его святым. Вся его богоугодная деятельность состояла в аскетических поучениях и моральных благотворениях. Он был прибежищем, духовною опорой и утешением всех страждущих, обремененных, скорбящих и озлобленных и помощи требующих. Все верующие, всех возрастов, званий и состояний и обоих полов, доверчиво, искренно и чистосердечно раскрывали перед ним свой ум и сердце, свои сомнения и недоумения, свои духовные нужды и печали, свои прегрешения и греховные помыслы. И всех святой старец удовлетворял и успокаивал, и никто не уходил от него без облегчения и душевного умиротворения. «Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое» (I, 51). «Богомольцы стекались к нему со всех сторон. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их» (I, 52–53). Вот приходит баба и плачет об умершем сынишке; старец и говорит ей, что «младенцы пред престолом Божиим дерзновенны и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном», что поэтому ее младенец находится «в ангельском чине», есть «единый от ангелов Божиих», а следовательно, она должна не плакать, а радоваться, идти домой к мужу и беречь его. Баба совершенно успокоилась и весело отправилась домой, сказавши: «Сердце ты мое разобрал». Другая баба сообщила ему на ухо

какой-то грех; он, узнав, что она исповедалась и приобщилась, сказал ей: «Ничего не бойся, и никогда не бойся и не тоскуй; только бы покаяние не оскудевало в тебе – и все бог простит» и т. д. Является, наконец, великосветская «малOVERная дама», Хохлакова, мать упомянутой, исцеленной старцем Lise, исповедуется, что она страдает неверием не относительно бога, а относительно будущей жизни, и это ее мучит. Старец рассеял ее сомнения, успокоил ее, сказав, что уже много значит одно сознание ею своего греха и скорбь об нем и т. д.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.